

Евгений Андреевич Соловьев

**Н.М. Карамзин. Его
жизнь и научно-литературная
деятельность**



Жизнь замечательных людей

Евгений Соловьев

**Н.М. Карамзин. Его
жизнь и научно-
литературная деятельность**

«Public Domain»

Соловьев Е. А.

Н.М. Карамзин. Его жизнь и научно-литературная деятельность / Е. А. Соловьев — «Public Domain»,
— (Жизнь замечательных людей)

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы — профессия.

Содержание

Глава I	6
Глава II	12
Глава III	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Евгений Андреевич Соловьев Карамзин. Его жизнь и научно- литературная деятельность

*Биографический очерк Е. Соловьева
С портретом Н. М. Карамзина, гравированным в Петербурге К.
Адтом*



Глава I

Детство. – Отрочество. – Юность

Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 года в одном из поместий своего отца, Михаила Егоровича. Род Карамзиных – старинный дворянский, ведет свое происхождение от татарского выходца Кара-Мурзы, который при царях (когда, в точности неизвестно) поступил на службу Москвы, принял крещение и получил земли в Нижегородской губернии вместе с дворянским званием. Отец Карамзина, отставной капитан армии, обладал характером простым и добрым и отличался старорусским гостеприимством и обязательностью. Женат он был два раза и всю свою жизнь провел в полном помещичьем довольстве. Николай Михайлович родился от первой его жены – Екатерины Михайловны, урожденной Пазухиной, скончавшейся скоро – хотя опять-таки неизвестно когда – после появления на свет своего сына. Гораздо позже, в 1793 году, Карамзин в «Послании женщинам» уделил несколько по обыкновению чувствительных строк своей матери, где говорит между прочим:

Ах! Я не знал тебя!.. Ты, дав мне жизнь, сокрылась
Среди весенних, ясных дней,
В жилище мрака преселилась!..
Я в первый жизни час наказан был судьбой.

Стихотворение заканчивается любопытным признанием:

Твой тихий нрав остался мне в наследство,

– признанием, как увидим ниже, совершенно справедливым.

Детство свое Карамзин провел на берегу реки Волги, и картины природы Поволжья оставили в его душе сильное, неизгладимое впечатление. В юности он не раз воспевал на своей «слабой лире» те места, где, говорит он:

Я природу полюбил,
Ей первенца души и сердца
Слезу, улыбку посвятил,
И рос в веселии невинном,
Как юный мирт в лесу пустынном!..

Каким путем научился он читать и писать – мы хорошенько не знаем. По-видимому, обязанности первого наставника исполнял дьякон местной церкви, с которым Карамзин, по обычаю того времени, прочел сначала Часослов, а затем перешел к гражданскому шрифту, не представившему особенных затруднений благодаря редким, блестящим способностям ребенка. Немного позже приставили к нему еще и немца-гувернера, предобродушнейшее, хотя и недалекое существо.

К чтению и одиночеству Карамзин, несмотря на то, что у него было три брата: Василий, Федор и Александр, – пристрастился очень рано. Читал он все, что попадало под руку и что можно было найти в книжном шкафу. «Дон-Кихота» он узнал еще в детстве, сильное впечатление произвели на него и другие романы и повести, из которых впоследствии не

без улыбки вспоминал он о «Даире», восточной повести, «Селиме и Дамассине», повести *африканской*, «Похождениях Мирамонда» и прочее. Попадались ему в руки и исторические сочинения, причем особенно увлекался он Сципионом Африканским и, разумеется, сам себя воображал героем.

Воображения – той силы, которая неотразимо влечет человека на поприще писателя, художника, артиста, – было очень много уделено Карамзину от природы. Усиленное, хотя и беспорядочное чтение, разумеется, должно было развивать ту же способность. Карамзин читал запоем, затаив дыхание, забывая решительно обо всем. Забравшись куда-нибудь в глушь сада, на берег Волги, он просиживал за книгами целыми днями, забывая о завтраке и обеде, и только сильный дождь или гроза заставляли его опомниться и прийти в себя. В романах ему открылся новый свет. «Я, – говорит он, – увидел, как в магическом фонаре, множество разнообразных людей на сцене, множество чудных действий, приключений – игру судьбы, дотоле мне совсем неизвестную... (но какое-то предчувствие говорило мне: ах! и ты некогда будешь ее жертвою! и тебя охватит, унесет сей вихорь... куда? куда?..) Сие чтение не только не повредило моей юной душе, но было еще весьма полезно для образования внутреннего чувства. В „Даире“, „Мирамонде“, в „Селиме и Дамассине“ (знает ли их читатель?), одним словом, во всех романах... герои и героини, несмотря на многочисленные искушения рока, остаются добродетельными, все злодеи описываются самыми черными красками, первые наконец торжествуют, последние, как прах, исчезают. В нежной моей душе не приметным образом, но буквами неизгладимыми, начерталось следствие: итак, любезность и добродетель одно! итак, зло безобразно и гнусно! итак, добродетельный всегда побеждает, а злодей гибнет!» Порою, оставляя книгу, Карамзин смотрел на «синее пространство Волги», на «белые паруса судов и лодок», на «станции рыболовов, которые из-под облаков дерзко опускаются в пену волн и в то же мгновение снова парят в воздухе». Он полюбил природу, как книги, за то, что ее виды и картины уносили его в царство грез; грезы же постепенно сделались все более и более необходимым элементом его бытия. На десятом году от рождения он мог уже «часа по два играть воображением и строить замки на воздухе». Опасности и героическая дружба были любимой мечтою мальчика, причем, разумеется, он всегда воображал себя избавителем какой-нибудь фантастической Дульцинеи. Он «мысленно летел во мрак ночи на крик путешественника, умерщвленного разбойниками, или брал штурмом высокую башню, где страдал в цепях друг его...» Сверх того он любил грустить, не зная о чем. «Голубые глаза его сияли сквозь какой-то флер, – прозрачную завесу чувствительности. Печальное сиротство еще усилило это природное расположение в грусть». «Ах! – восклицает Карамзин, заканчивая картину своего детства – самый лучший родитель не может заменить матери, добрейшего существа в мире! Одна женская любовь, всегда внимательная и ласковая, удовлетворяет сердцу во всех отношениях!..»

Между прочим, однажды во время чтения в лесу с ним случилось характерное приключение, которое он сам описал, изобразив себя под именем Леона: «Гроза усиливалась: мальчик любовался блеском молнии и шел тихо, без всякого страха. Вдруг из густого леса выбежал медведь и прямо бросился на Леона. Дядька не мог даже и закричать от ужаса. Двадцать шагов отделяют нашего маленького друга от неизбежной смерти; он задумался и не видит опасности: еще секунда, две – и несчастный будет жертвою яростного зверя. Грянул страшный гром... какого Леон никогда не слыхивал; казалось, что небо над ним обрушилось и что молния обвила вокруг головы его. Он закрыл глаза, упал на колени и только мог сказать: „Господи!“ Через полминуты взглянул – и видит пред собою убитого громом медведя. Дядька насилу мог образумиться и сказать ему, каким чудесным образом Бог спас его».

«Этот удар грома, – добавляет Карамзин, – был основанием моей религии». Но, разумеется, кроме книг и «синего пространства Волги», на ребенка влияла и домашняя его обстановка. К его отцу, хлебосольному, гостеприимному помещику, то и дело наезжали

гости, соседи. Маленький Карамзин любил встречать их и, завидев у крыльца повозки или брички, «с великим удовольствием» бежал в кабинет к отцу, крича по дороге: «Батюшка, едут гости!» – на что отец неизменно отвечал: «Добро пожаловать!» «Провинциалы наши, – вспоминает Карамзин, – не могли наговориться друг с другом; не знали, что за зверь политика и литература, а рассуждали, спорили и шумели. Деревенское хозяйство, известные тяжбы в губернии, анекдоты старины служили богатым материалом для рассказов и примечаний». «Как теперь, смотрю на тебя, – читаем мы дальше, – заслуженный майор Фадей Громилов, в черном большом парике, зимою и летом в малиновом бархатном камзоле, с кортиком на бедре и в желтых татарских сапогах; слышу, слышу, как ты, не привыкнув ходить на цыпках в комнатах знатных господ, стучишь ногами еще за две горницы и подаешь о себе весть издали громким своим голосом, которому некогда рота ландмилиции повиновалась и который в ярких звуках своих нередко ужасал дурных воевод провинции! Вижу и тебя, седовласый ротмистр Бурилов, простреленный насквозь башкирскою стрелою в степях уфимских; слабый ногами, но твердый душою; ходивший на клюках, но сильно махавший ими, когда надлежало тебе представить живо или удар твоего эскадрона, или омерзение свое к бесчестному делу какого-нибудь недостойного дворянина нашего уезда. Гляжу и на важную осанку твою, бывший воеводский товарищ Прямодушин, и на орлиный нос твой, за который не мог водить тебя секретарь провинции, ибо совесть умнее крючкотворства; вижу, как ты, рассказывая о Бироне и тайной Канцелярии, опираешься на длинную трость с серебряным набалдашником, которую подарил тебе фельдмаршал Миних».

Препровождение времени, как видно, было незатейливое. К разговорам надо прибавить обед и закуски, тянувшиеся часами, обильное возлияние и некоторое фрондирование, не заходившее, впрочем, за пределы губернии и не обращавшееся ни на кого выше исправника или, в крайнем случае, губернатора. В воспоминании об этом фрондировании мелкопоместных дворян у нас сохранился интересный документ, скрепленный подписью всех друзей-провинциалов Карамзина-старшего, Громилова, Бурилова, Прямодушина и проч. Документ, названный договором братского общества, гласит: «Мы, нижеподписавшиеся, клянемся честию благородных людей жить и умереть братьями, стоять друг за друга горою во всяком случае, *не жалеть ни трудов, ни денег для услуг взаимных*, поступать всегда единодушно, *наблюдать общую пользу дворянства*, вступаться за притесненных и помнить русскую пословицу: «тот дворянин, кто за многих один»; не бояться ни знатных, ни сильных, а только Бога и государя; *смело говорить правду губернаторам и воеводам*, никогда не быть их прихлебателями и не такать¹ против совести. А кто из нас не сдержит своей клятвы, тому будет стыдно и того выключить из братского общества».

Когда в доме бывали гости, Карамзин постоянно вертелся между ними. Его любили и ласкали. По его собственным словам, «он вкрадывался в любовь каким-то приветливым видом, какими-то умильными взорами, каким-то мягким звуком голоса, который приятно отзывался в сердце...» Приветливый, несколько грустный мальчик любил карабкаться на колена отставных воинов, слушать их громкие речи, набивать им трубки, подавать угольки или трут. Но особенно ему нравились бесчисленные и бесчисленно много раз повторявшиеся рассказы о победах Миниха, о подвигах русского войска и другие им подобные воспоминания ветеранов.

До мирного кружка, собиравшегося в барском доме глухого поместья Оренбургской губернии, редко долетали слухи о петербургских событиях, а если и долетали, то не возбуждали особенного интереса. Вся их политическая гордость сосредоточилась на том, чтобы смело говорить правду губернаторам и воеводам и наблюдать общую пользу дворянскую. О большем они не мечтали, да и трудно было мечтать им, хорошо еще помнившим все

¹ не идти

ужасы бироновского владычества и «пременность» судьбы, посылавшей в вечную ссылку то Миниха, то Бирона. Впрочем, кое-что доносилось из столицы и к ним, в глушь оренбургских степей. С удовольствием приняли они указ о вольности дворянской и порадовались за детей своих, которые таким образом освободились уже от обязательной государственной службы, подчас тяжелой, а для бедного барина всегда неприятной. Они струхнули, когда распространился слух о том, что за вольностью дворянской последует крестьянская; но слух оказался ложным, и они вздохнули с облегчением. Указ императрицы против взяточничества произвел на них впечатление тем более, что у каждого из них имелись тяжбы с родственниками или соседями, и приказные козавки высасывали из них последние соки. С недоумением присутствовали они на выборах в комиссии уложения, но потом, сообразив, в чем дело, строго-настрого заказали своему депутату блюсти интересы дворянские. За заседаниями комиссии они не следили, уповая на «благорасположение Матушки государыни» к дворянскому сословию. От вечных воспоминаний серьезно отвлекли их лишь пушечные залпы в Крыму, громкие победы Румянцева приводили их в восторг, и с гордостью рассуждали они о непобедимости российского воинства...

Вот что видел и слышал вокруг себя в детстве маленький Карамзин, воскликнувший впоследствии со своим обычным риторическим пафосом: «Родина, Апрель жизни, первые цветки весны любезной! Как вы милы всякому, кто рожден с любезной склонностью к меланхолии!»

В детстве Карамзин часто бывал в Симбирске и даже учился там в пансионе немца Фавеля, но чему и как – неизвестно. Здесь же произошел первый его роман с помещицей Пушкиной, кончившийся впрочем не особенно трагически: влюбленному 12-летнему мальчику возлюбленная помещица надрала уши.

13-ти и 14-ти лет Карамзин отправился в Москву, где и поступил в университетский пансион Шадена. Личность этого педагога заслуживает полного нашего внимания. По свидетельству Фонвизина, «сей ученый муж, т. е. Шаден, имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши уже были очевидны». Шаден был немец, родом из Пресбурга. Прослушав курс философии в Тюбингене, он был вызван в Москву и получил в недавно основанном тогда университете сразу четыре кафедры: нравоучения, права естественного и народного и политики. Приехав в Россию и заняв место директора университетской гимназии, Шаден сообразил, что университет сам по себе может принести очень мало пользы. Необходимо было, по его мнению, учредить средние и низшие школы и частные пансионы. Поэтому на торжественном акте 1751 года, в присутствии двора, он произнес речь о заведении гимназий в России, а вскоре сам, примера ради, открыл пансион по образцу германских.

В пансионе было обращено особенное внимание на изучение языков, и Карамзин, прилежно занявшись ими, вскоре сделал значительные успехи, чем обратил на себя особенное внимание Шадена. Тот стал водить его с собою к знакомым иностранцам, чтобы доставить своему любимцу случай поупражняться по-французски или по-немецки, давал ему читать хорошие книги и, кажется, предвидел уже в нем будущего литератора. Вскоре Карамзин стал посещать университетские классы, где, по его собственному признанию, все учились если не наукам, то *русской грамоте*.

Так прошло четыре года. По понятиям того времени продолжать занятия науками далее 17–18 лет было так же зазорно для юноши, как для девушки не выйти замуж к этому сроку. Надо было думать о карьере, и Карамзин, пользуясь протекцией отца, записался подпрапорщиком в Преображенский гвардейский полк. Служба требовала его присутствия в Петербурге; он отправился туда и первым делом познакомился со своим родственником по матери

и будущим известным писателем Дмитриевым. Вот что рассказывает последний о встрече с Карамзиным.

«Однажды я, будучи еще и сам сержантом, возвращаюсь с прогулки; слуга мой, встретя меня на крыльце, рассказывает мне, что кто-то ждет меня, приехавший из Симбирска. Вхожу в горницу, вижу миловидного, румяного юношу, который с приятною улыбкою вручает мне письмо от моего родителя».

«Стоило только услышать имя Карамзина, как мы уже были в объятиях друг друга. Стоило нам сойтись три раза, как мы уже стали короткими знакомцами».

Еще более Карамзин сблизился и подружился в Петербурге со старшим братом Ивана Ивановича, Александром Ивановичем, о котором сохранилось несколько воспоминаний в «Письмах русского путешественника» и в статье «Цветок на гроб моего Агатона».

«Едва ли не с год мы были неразлучны, – продолжает Дмитриев, – склонность наша к словесности, может быть, что-то сходное и в нравственных качествах, укрепляли нашу связь день ото дня более: мы давали взаимный отчет в нашем чтении. Между тем я показывал ему иногда мелкие мои переводы, которые были печатаны особо и в тогдашних журналах; следуя моему примеру, он принялся и сам за переводы. Первым опытом его был *разговор австрийской Марии-Терезии с нашей императрицей Елисаветой в Елисейских полях*, переведенный им с немецкого языка».

«Я советовал ему показать его книгопродавцу Миллеру, который покупал и печатал переводы, платя за них, по произвольной оценке и согласию переводчика, книгами из своей книжной лавки. Не могу без улыбки вспомнить, с каким торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика Фильдингова „Томаса Джонса“ („Tom Jones“), в маленьком формате с картинками, перевода Харламова. Это было первым его возмездием за словесные труды».

«Словесные труды» прельстили Карамзина. В том же 1783 году он перевел идиллию Геснера «Деревянная нога», в которой каждая фраза удивительно хорошо восстанавливает перед нами язык слащавой и добродетельной немецкой поэзии прошлого века – до Гете и Шиллера. В идиллии речь идет, разумеется, о молодом пастухе, пасущем коз на берегу источника, о приятном шуме свирели, о добродетельном старце, поучающем юношество, и многих других одинаковых вещах.

Но как ни приятны были словесные труды, юноша рвался к геройским подвигам и хотел «разить весь свет», чтобы «прельстить женщин». Разить весь свет значило в то время воевать с турками, и Карамзин стал проситься в действующую армию. Но назначение зависело преимущественно от полкового секретаря, который, как все секретари, брал взятки, и так как у Карамзина денег было мало, то от желания разить свет ему, к счастью, пришлось отказаться. Он, разочарованный, вышел в отставку и уехал в Симбирск, где в это время умер его отец, оставив после себя небольшое наследство.

В Симбирске его видел Дмитриев и нашел его «уже играющим роль надежного на себя светского человека: решительным за вистовым столом, любезным и занимательным в дамском кругу и политиком перед отцами семейств, которые хотя и не привыкли слушать молодежь, но его слушали. Такая жизнь не охладила, однако ж, в нем прежней охоты к словесно-

сти; при первом нашем свидании, с глазу на глазу, он спрашивает меня, занимаюсь ли по-прежнему переводами, и сказал, что сам занимается ими...»

Глава II

Знакомство с Новиковым. – Дружба с Петровым. – «Детское чтение»

Рассеянная светская жизнь Карамзина продолжалась недолго. Его же земляк, Иван Петрович Тургенев, уговорил его ехать в Москву, что и случилось в конце 1784 года. В Москве тот же Тургенев ввел Карамзина в лучший и, пожалуй, единственный интеллигентный кружок того времени, собравшийся возле знаменитого книгоиздателя Новикова, где, по словам Дмитриева, он имел случай вращаться в среде людей степенных, соединенных дружбою и просвещением.

Подробности о жизни и личности Новикова читатель может почерпнуть из его биографии, мне же придется ограничиться лишь немногими словами об этом замечательном человеке. Множество разнообразных талантов прежде всего бросается в нем в глаза. Его чуткость к потребностям времени говорит о недюжинности его натуры. Его способности организации и влияния на людей поразительны. Его честность и сила воли несомненны. В общем, это в высшей степени редкий тип русского человека, обладающий громадной инициативой и способностью идти собственной дорогой, не обращая внимания на желание сильных и на косность массы.

Утверждают, что в русском человеке вообще преобладают два свойства – табунное начало и смирение духа. Он теряется и недоумевает, когда не чувствует за собой толпы, массы или не действует по чьему-либо приказанию. В нем слабо чувство личности, еще слабее стремление к риску или упрямому долговому труду. Он готов браться за все, но охладевает так же быстро, как и возгорается. В первый день у него восторги и увлечения, на второй – уныние и сознание ненужности всего – начатого дела, самого себя, мироздания. Правильно замечено, что русский человек делает все так, как будто сроку его жизни – один день, а немец – так, как будто сроку его жизни – лет сто, пожалуй, и больше. Убеждаясь постепенно в бесплодности своей инициативы, русский в конце концов смиряется перед силой, которая берется руководить им.

Если эта характеристика справедлива, то в лице Новикова мы имеем блестящее исключение. Обладая сравнительно небольшими средствами, он всегда брался за великие дела и, что всего важнее, никогда не останавливался на полпути. Начавши по обычаю свою карьеру офицером, он скоро оставил торную дорогу и принялся за издание сатирических журналов, из которых «Живописец» был лучшим не только в свое время, но и вообще вплоть до нашего времени. Переехав в Москву, Новиков немедленно же основал «Дружеское общество» и наводнил своими прекрасными изданиями читающую по складам Россию. Влияние его энергичной нравственной личности на людей было велико, он умел возбуждать преданность к себе, умел сплачивать вокруг себя самые разнообразные элементы, умел для каждого найти подходящее дело и привязать человека к этому делу на всю жизнь. Разумеется, он оказался опасным и, как таковой, был приговорен даже к смерти, но милостивая резолюция заключила его в крепость без срока.

На Карамзина, однако, Новиков особенного влияния не оказал, в чем, по моему мнению, виновата поверхностная, хотя несомненно даровитая натура нашего историографа. Сам Карамзин о Новикове отзывался так:

«Новиков в самых молодых годах сделался известен публике своим отличным авторским дарованием: без воспитания, без учения, писал

остроумно, приятно и с целью нравственную; издал многие полезные творения, например: „Древнюю Российскую Вивлиофику“, „Детское Чтение“, разные экономические учебные книги. Императрица Екатерина II одобряла труды Новикова, и в журнале его („Живописец“) напечатаны некоторые произведения собственного пера ее. Около 1785 года он вошел в связь по масонству с берлинскими теософами и сделался в Москве начальником так называемых мартинистов, которые были (или суть) не что иное, как христианские мистики: толковали природу и человека, искали таинственного смысла в ветхом и новом завете, хвалились древними преданиями, унижали школьную мудрость и проч.; но требовали истинных христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и ставили в закон верность к государю. Их общество, под именем масонства, распространилось не только в двух столицах, но и в губерниях; открывались ложи; выходили книги масонские, мистические, наполненные загадками. В то же время Новиков и друзья его на свое иждивение воспитывали бедных молодых людей, учили их в школах, в университетах; вообще употребляли немалые суммы на благотворения».

Из этих слов видно, как неглубоко понял Карамзин Новикова и его масонство, иначе бы он не говорил об унижении школьной мудрости, как об одном из пунктов программы своего учителя. Не школьная мудрость была ненавистна Новикову, а формализм образования, все равно как в самом масонстве он всегда недолюбливал те внешние знаки и обряды, которыми держались и разъединялись ложи каменщиков. Как масон Новиков мечтал о той утопии, которая тревожит людей и в наше время, – о чистом христианстве, таком то есть, каким оно завещано Христом и под чьим знаменем могли бы объединиться люди без различия национальностей и церквей. Наперекор духу своего времени Новиков был человеком в высокой степени религиозным; его поражала и мучила ненависть католика к протестанту и ненависть протестанта к православному. Создать единое христианское стадо было его конечной целью, оттого-то обряд формы так тяготил его. Но чтобы люди составили единое стадо – их надо просвещать, и Новиков потратил на это просвещение все свои силы, средства и жизнь. Карамзин (ему, заметим, было в 1785 году только 18 лет) не понял Новикова, а Новиков понял его и сразу нашел для него подходящее дело. Он предложил ему переводы разных иностранных сочинений по педагогике. Карамзин согласился, находя, что такое занятие для него очень полезно, так как выработает из него хорошего переводчика.

В результате появилось «Детское чтение».

«Детским чтением» Карамзин заведовал не один, а вместе с другом своим Петровым, личность которого нам неизвестна. Дмитриев говорит о нем довольно общо, подчеркивая преимущественно его «просвещенность» и «благородство сердца», но как жил, чувствовал этот просвещенный и благородный человек – мы не знаем. «Петров, – читаем мы у Дмитриева, – знаком был с древними и новыми языками; при глубоком знании отечественного слова одарен был необыкновенным умом и способностью к здоровой критике; но, к сожалению, ничего не писал для публики и упражнялся только в переводах. Карамзин полюбил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей доли желчи, другой же угрюм, молчалив и подчас насмешлив; но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному, и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одною кровлею у Меншиковой башни, в старинном каменном доме».

Во взаимных отношениях друзей Петров, по-видимому, играл роль руководителя. Карамзин в патетической статье своей, озаглавленной «Цветок на гроб моего Агатона», т. е. Петрова, говорит между прочим:

«Я нашел в нем то, что с самого ребячества было приятнейшею мечтою моего воображения, – человека, которому мог я открывать все милые свои надежды, все тайные сомнения; который мог рассуждать и чувствовать со мною, показывать мне мои заблуждения и научать меня не повелительным голосом учителя, но с любезною кротостью снисходительного друга; одним словом, я нашел в нем сокровище, особливый дар неба, который не всякому смертному в удел достается, и время нашего знакомства, нашего дружества будет всегда важнейшим периодом жизни моей».

В своих письмах Петров дает Карамзину почти отеческие наставления, советует лечиться от скуки работой, не жаловаться на судьбу и не представлять свое положение чересчур мрачным. Иногда он добродушно подшучивал над своим другом, например: «Будучи великий жени (гений), ты столько превознесся над мелочами, что в трех строках сделал пять ошибок против немецкого языка. Пожалуй, употреби в пользу сие дружеское замечание и лучше пиши все сочинение на русско-славянском языке, долго – сложно – протяжно парящими словами». О себе Петров одинаково отзывался всегда с добродушным юмором, уверяя, что он лично никуда не годится, даже мышей ловить.

В письмах и переводах Петрова бросается прежде всего в глаза прекрасный, чистый и удивительно простой язык, на котором положительно отдыхаешь, утомленный риторикой и цветами стиля того времени. Посмотрите, например, как пишет Карамзин о своих отношениях к другу: «Часто дух наш на крыльях воображения облетал небесные пространства, где Орион и Сириус в златых венцах сияют; там искали мы нежных друзей своему сердцу, и часто заря утренняя красила восточное небо, когда я расставался с Агатоном и возвращался домой с покойною душою с новыми знаниями или с новыми идеями».

Невольно воскликнешь: «Боже! да чего тут только нет! И Орион, и Сириус, и крылья воображения, и златые венцы!» Или из того же Карамзина:

«Верный вкус друга моего был для меня светильником в искусстве и поэзии. Восхищенный красотой цветов, растущих на сем поле, дерзал я иногда младенческими руками образовать нечто подобное оным и незрелые свои мысли изливать на бумагу».

Сравните с этими деланными фразами простые, сильные фразы Петрова, который, если не считать Кантемира, первый стал писать разговорным языком, и вы не затруднитесь, чему отдать предпочтение. «Что касается до меня, то я по отпуске сего письма жив и здоров, – пишет, например, Петров, – но знаю это потому только, что ем, пью и сплю попеременно, иных же знаков жизни никаких не предвидится...» Или: «простота чувствования – превыше всякого умничанья: грешно сравнивать натуру (природу) с педантскими подражаниями, натянутыми подделками низших умов».

Несомненно, что Петров первый заинтересовал Карамзина Шекспиром и советовал ему переводить его драмы на русский язык; то же, вероятно, можно сказать и относительно Лессинга. Петров был тем, что в наши дни принято называть трезвым умом. Он стремился к полезному, не терпел ни фраз, ни излишней чувствительности, в самых увлечениях своих он не расставался с добродушной иронией. Его влияние на Карамзина, особенно на слог последнего, несомненно. К сожалению, это все, что мы можем сказать о нем. Петров рано умер, риторика Карамзина никаких основательных сведений нам о нем не сохранила.

Четыре года пробыл Карамзин среди членов «Дружеского общества», постоянно занимаясь литературой. Кроме статей для «Детского чтения» он переводил философские и мистические трактаты, например «Размышления» Штурма, сочинения Галлера «О происхождении зла» и многое другое. Впрочем, как уже было замечено выше, влияние масонов «Дружеского общества» на Карамзина было слабо и поверхностно. Что делал он в «Детском

чтении»? Главным образом переводил, но однажды рискнул создать нечто оригинальное, в результате чего и появилась «Русская старинная повесть: Евгений и Юлия». Это была первая «чувствительная повесть» на нашем языке, почему и ознакомимся с ее содержанием:

«Г-жа Л. удалилась из Москвы в деревню, где жила в полном уединении с Юлией, дочерью умершей своей приятельницы. Весну и лето проводили они в наслаждениях „приятностями природы“. Когда же наступала пасмурная осень и черным мраком все творение покрывала, или свирепая зима, от севера несущаяся, потрясала мир бурями своими, когда в нежное Юлино сердце вкрадывалась томная меланхолия и тихими вздохами колебала ее грудь, тогда брались за книги, бессмертные творения истинных философов для пользы рода человеческого, тогда читали и перечитывали письма любезного Евгения, учившегося в чужих краях. Иногда при чтении сих писем глаза Юлины наполнялись слезами приятными любви и почтения к благоразумному и добросердечному юноше. „Ах, когда он к нам приедет? – часто говаривала г-жа Л., – как счастлива буду я, когда его увижу, прижму к своему сердцу и тебя с ним вместе, Юлия“.

«Наконец он приехал. Дружба его к Юлии обратилась в пламенную любовь. Он подарил ей множество книг французских, итальянских и немецких. Юлия прекрасно играла на клавесине и пела. Особенно нравилась ей песнь Клопштока, к которой музыку сочинил Глюк. Евгений и Юлия часто гуляли при свете луны, рассматривали звездное небо и дивились величеству Божию; внимая шуму водопада, рассуждали о бессмертии. Сколько высоких, нежных мыслей сообщали они друг другу, быв оживлены духом натуры».

«Когда Евгению минуло двадцать два года, а Юлии – двадцать один, они открылись друг другу во взаимной любви, г-жа Л. была в восторге. Но – увы! – прочное счастье редко существует в свете. Евгений заболел горячкою и в девятый день умер».

«Один молодой, чувствительный человек, проезжавший чрез деревню г-жи Л. и слышавший сию печальную повесть, посетил гроб Евгениев, и на белом камне, лежавшем между цветов на могиле, написал карандашом следующую эпитафию, которая после была вырезана на особливом мраморном камне:

Сей райский цвет не мог в сем мире распуститься —
Увял, изсох, опал — и в рай был пренесен».

В 1787 году Карамзин перевел трагедию Шекспира «Юлий Цезарь», издал ее и послал переводу очень характерное примечание. Здесь он называет Шекспира «одним из тех великих духов, коими славятся веки». Он говорит далее, что «время, сей могущественный истребитель всего того, что под солнцем находится, не могло еще доселе затмить изящность и величие шекспировских творений. Каждая степень людей, каждый возраст, каждая страсть, каждый характер говорит у него собственным своим языком. Что Шекспир не держался правил театральных – правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылкое его воображение, не могшее покориться никаким предписаниям; дух его парил яко орел и не мог парения своего измерить тою мерою, которую измеряют полет свой воробьи»...

Надо согласиться, что было смелым и прекрасным делом высказывать такие мысли русскому обществу, выросшему на трагедиях Сумарокова, почитавшего себя превыше господина Вольтера и соблюдавшего все три «единства» – времени, места и действия. Свой восторг перед Шекспиром Карамзин излил также в следующем положительно недурном стихотворении:

Шекспир, натуры друг! кто лучше твоего
Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством
Живописала их? Во глубине души
Нашел ты ключ к великим тайнам рока
И светом своего бессмертного ума,
Как солнцем, озарил пути ночные жизни:
Все башни, коих верх скрывается от глаз,
В тумане облаков огромные чертоги,
И всякий гордый храм исчезнут как мечта —
В течение веков и места их не сыщем —
Но ты, великий муж, пребудешь незабвен.

Вскоре после «Юлия Цезаря» Карамзин перевел и знаменитую трагедию Лессинга «Эмилия Галотти».

Из всего этого видно, что его занятия, интересы, даже знакомства были чисто литературными. Политикой он совершенно не интересовался, и великолепные утопии царствования Екатерины даже не тронули его. Он не мечтал вместе с Бецким о создании новой породы людей, не стремился вместе с Суворовым и Потемкиным под стены Константинополя, чтобы восстановить великую Византийскую империю и водрузить крест вместо полумесяца на купол Софийского собора. Перед нами скромный труженик, всегда приветливый, добрый, с любезною склонностью к меланхолии. Он мечтал лишь о том, чему суждено было скоро осуществиться — о заграничном путешествии.

Перед отъездом в чужие земли Карамзин порвал всякие связи с масонами «Дружеского общества».

«Я, — рассказывал он впоследствии Гречу, — был обстоятельствами вовлечен в это общество в молодости моей и не мог не уважать в нем людей, искренно и бескорыстно искавших истины и преданных общепольному труду. Но я никак не мог разделить с ними убеждения, будто для этого нужна какая-либо таинственность, — и не могли мне нравиться их обряды, которые всегда казались мне нелепыми. Перед моею поездкою за границу я откровенно заявил в этом обществе, что, не переставая питать уважение к почтенным членам его и признательность за их постоянное доброе ко мне расположение, я, однако ж, по собственному убеждению принимать далее участие в их собраниях не буду и должен проститься. Ответ их был благосклонный; сожалели, но не удерживали, и на прощанье дали мне обед. Мы расстались дружелюбно».

Глава III

Поездка за границу. – «Письма русского путешественника»

Для русского человека поездка за границу была далеко не обычным явлением в XVIII веке. Такая поездка требовала и значительных средств, и знания иностранных языков, и сравнительно высокого умственного развития. Все это было у Карамзина, и в мае 1789 года он выехал наконец из столицы в дорожном дормезе с любимыми книгами в чемодане. Петров провожал его до заставы. «Там, – рассказывает нам путешественник, – обнялись мы с ним и еще в первый раз видел я слезы его; – там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: „Прости!“ Колокольчик зазвенел, лошади помчались, и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей...» Что же так сильно тянуло Карамзина за границу? Думал ли он изучать промышленность и торговлю, общественные или политические учреждения, нравы и обычаи европейских народов? – Ни то, ни другое, ни третье. Его манила неизвестность, всегда таинственная для молодого человека, манила чужая природа, горы Швейцарии, синяя вода Женевского озера, шум великого города, красиво раскинувшегося на монмартрских холмах, а главным образом ему хотелось ознакомиться с великими людьми, чьи произведения он читал в России, кого привык уважать и любить. Более поверхностного наблюдателя, чем Карамзин, трудно даже найти; но вместе с тем трудно найти и более интересного автора записок, особенно у нас, в России. «Письма русского путешественника» Карамзина и «Письма об Испании» Боткина, несомненно, самые изящные произведения наших туристов. Объясняя цель своего путешествия, Карамзин говорит: *«Приятно и весело, друзья мои, переезжать из одной земли в другую, видеть новые предметы, с которыми, кажется, самая душа наша обновляется и чувствует неоцененную свободу человека, по которой он подлинно может назваться царем земного творения»*. *«Приятными и веселыми* вышли и «Письма русского путешественника». Не ищите в них только ничего особенно глубокого, и они несомненно даже и теперь доставят вам значительное удовольствие.

Карамзин пробыл за границей около полутора лет, от мая 1789 года до сентября 1790 года. Он посетил Германию, Францию, Швейцарию и Англию. Главные места, где он дольше других останавливался, были: Берлин, Лейпциг, Женева, Париж и Лондон.

Первый замечательный человек, которого посетил Карамзин в Кенигсберге, был великий философ Эммануил Кант. Полагаю, что встреча с ним – самая интересная из всех встреч нашего путешественника, почему и привожу ее описание полностью.

«Меня, – рассказывает Карамзин, – встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: „я – русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъяснить мое почтение Канту“. Он тотчас попросил меня сесть, говоря: „я писал такое, что не может нравиться всем, немногие любят метафизические тонкости“.

«С полчаса поговорили мы о разных вещах: о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромождать магазин человеческой памяти, но это у него, как немцы говорят, дело постороннее. Потом *я, не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека*; и вот что мог удержать в памяти из его рассуждений:

«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым, и стремится всегда к приобретениям. Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку все, чего желает; но он в ту же минуту почувствует, что это *все* не есть *все*. Не видя цели или конца стремления нашего в здеш-

ней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет, и скоро придет конец жизни моей; ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия; но, представляя себе те случаи, где действовал сообразно с *законом нравственным*, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о *нравственном законе*: назовем его совестью, чувством добра и зла – но он есть. Я солгал; никто не знает лжи моей, но мне стыдно. – Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни; но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, *глазами увидели ее*? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнею жизнью и были в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни: *авось там будет лучше!* – Но говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч., предполагаем уже бытие Всевечного творческого разума, все для чего-нибудь создавшего и всему благо-творящего. Что? как?.. Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобытное».

«Почтенный муж, – заключает Карамзин свое изложение, – прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои».

Из Кенигсберга Карамзин отправился в Берлин, где посетил знаменитого в прошлом столетии книгопродавца Николаи, друга и издателя Лессинга. Разговор зашел о происшедшей в то время ожесточенной полемике между католиками и протестантами. Наш путешественник предается следующим рассуждениям о веротерпимости: «Где, – говорит он, – искать терпимости, если сами философы, самые просветители – а они так себя называют, – оказывают столько ненависти тем, которые думают не так, как они? Тот есть для меня истинный философ, *«кто со всеми может ужиться в мире*, кто любит и несогласных с его образом мыслей». В этих словах никак нельзя не отметить излишнего добродушия. Терпимость к чужому мнению – вещь прекрасная, но если чужое мнение прокладывает себе дорогу костром и виселицами, пытками и тюрьмами, если оно неискреннее, если оно заботится не об истине, а о том, чтобы какими бы то ни было средствами заставить замолчать своего противника, то терпимость к нему становится прямо преступной. Во всяком случае подчеркнутые слова характерны для Карамзина.

В Берлине же Карамзин посетил театр и плакал, смотря драму Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Описывая свои впечатления, он роняет глубокие слова, припомнить которые нелишне еще и теперь: «Я думаю, что у немцев не было бы таких актеров, если бы не было у них Лессинга, Гете, Шиллера и других драматических авторов, которые с такой живою представляют в драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения или французские румяна, которые человеку с естественным вкусом не могут быть приятны. Читая Шекспира, читая лучшие немецкие драмы, я живо воображаю себе, как надобно играть актеру и как что произнести, но при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них хорошо играть актеру или так, чтобы меня тронуть».

В июле Карамзин был уже в Саксонии. Интересен разговор, который он вел по дороге из Мейсена в Лейпциг о *бессмертии души*.

«Федон, – сказал спутник (студент), – есть, может быть, самое остроумнейшее философическое сочинение; однако ж все доказательства бессмертия нашего основывает автор на одной гипотезе. Много вероятности, но нет уверения; и едва ли не тщетно будем искать его в творениях древних и новых философов. – *Надобно искать в сердце*, – сказал я. – «О, государь мой! – возразил студент, – *сердечное* уверение не есть еще *философическое* уверение, оно не надежно; теперь чувствуете его, а через минуту оно исчезнет, и вы не найдете его места.

Надобно, чтобы уверение основывалось на доказательствах, на тех врожденных понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечные необходимости истины... Сего-то уверения ищет метафизик в уединенных сениях, во мраке ночи, при слабом свете лампы, забывая сон и отдохновение. — Ежели бы могли мы узнать точно, что такое есть душа сама в себе, то нам все бы открылось; но...» Тут вынул я из записной книжки своей одно письмо доброго Лафатера и прочитал студенту следующее: «Глаз по своему образованию не может смотреть на себя без зеркала. Мы созерцаемся только в других предметах. Чувство бытия, личность, душа — все сие существует единственно потому, что вне нас существует, — по феноменам или явлениям, которые до нас касаются».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.